

*А. М. Карпеев*

**Эстетическая метафизика человека  
(Мыслители Западных Островов до Оскара Уайльда)**

**1**

Замри, не говори. И Солнце — не встает,  
И жизни нет в Волнах. И не уходит Время;  
Земля — вращается. И весь великий Лед  
Не давит, не гнетет базальтовое темя.  
Мой старый друг Корабль, курилка Альбион,  
Твои Труды и Дни, твои грехи и чары  
Переполняют Трюм. А бдительный Закон  
Смирит Преступников. Но — не Морей удары.  
О, механический прозрачный Мастоdont,  
Ветра, Течения, безмысленные Воды!  
Я — и Безмерное. Но третье — Горизонт —  
Изображение подвижное Свободы —  
Шкатулка Островов, подаренная нам  
На зависть Ангелам и ласковым Зверям.

*Алек Маккарти. Наш викторианский возраст  
(A McCarthey This Age of V)*

Средневековая цивилизация — наша современная цивилизация в ее ранней фазе — в значительной мере иррадиировала с Британских островов, из полупоэтичных королевств ирвов, пиктов, каледонцев, скоттов, из артуровского Логриса. Островная цивилизация (включающая, очевидно, и «Малую Британию», т. е. Арморику-Бретань, и все бискайское взморье, отделенное лесами, песками и горами от собственно континентальных территорий) окончательно сложилась, очевидно, в IV—VI веках по Р. Х., приобретя качество поистине культуры — растворять в себе, пусть и очень медленно, тех, кто побеждал ее, даже при численном превосходстве последних — англоv, саксов и ютов, датчан, норвежцев,

французских норманнов. Пикто-кельтский (с непременно местной «римскостью») дух очень даже чувствуется в якобы саксонце Альфреде, переведившем на национальный язык — это в девятом-то веке! — Боэция; именно его легенда приписывает как Ричарду Львиное Сердце, равно как и Робину и всей его компании, вне зависимости от того, на каком языке они говорили. И по сейчас ирландцы (да и не все) ругают англичан по-английски, приберегая родной язык для фолк-рока и объяснений в любви (и к англичанкам тоже).

Философское рефлексирование оснований островного культурного праксиса (практикуемого с тех пор и по всем континентам) с неизбежностью оказывается рефлексированием оснований кошачьей живучести этого типа культуры, как равно и ее упорного (при всей пластичности) «самой-по-себе-гуляния».

Я не буду сейчас говорить о вполне безумных построениях Эриугены, как и, с другой стороны, об уникальных и оказавшихся некогда судьбоносными для всей Европы качествах сплава под названием «английские францисканцы» (Роберт Головастый, Роджер Бэкон, Иоанн Дунс Скотт и так далее). Начнем наш обзор, который должен в конце привести к Оскару Уайльду, с перспективой, открытой на контркультурные рефлексии Рейча, Роззака, Слейтера, — с XVII века, не затрагивая даже Шекспира.

Поэтов-метафизиков и Мильтона, однако, не затронуть нельзя. Шефтсбери и Локк, а опосредованно — Аддисон, Стиль, Хом, Юм, Беркли, Берк, кардинал Ньюмен, Моррис, Уайльд, Честертон, Коллингвуд, Мур и проч. обязаны им много больше, чем государственнику Гоббсу, свидетельствующему в общем виде о направленности островитянской философии — и только.

«Потерянный рай» представляется мне чрезвычайно путаным и все же гениальным, как все у Мильтона, прологом к робинзонаде. Посредующее между Мильтоном и Дефо (а там уж вообще английским XVIII веком) звено — вероятно, Джон Бэньян. Композиция «Потерянного рая» при этом вполне кольцевая: нис-падение — творение — от-падение.

*Нис-падение Сатаны с небес в самоволие цивилизации, кажется, подчеркнута анти-островитянской (подозрительно-напоминающей барочный Рим, надо сказать) — творение Богом дивного мира естества, природного и человеческого (имевшее место раньше, но пересказанное лишь в середине поэмы) — от-падение Адама и Евы от природы, от собствен-ного, от Бога, замысла, чреватое, однако, началом куль-туры (не цивилизации — об этом речи вообще нет). Это как Крузо, втягивающийся в жестокую игру современного мира; Крузо, открывающий и защищающий свой остров; Крузо, прощающийся с островом, чтобы однажды о нем рассказать.*

«Из ясного изгнания моего — и более далекого теперь, чем отшумевшая гроза, — как не сойти, о Господи, с пути, что Ты мне указал?

...Ужель останется мне только это вечернее смятение — после того, как долгий-долгий день кормил ты солью Своего одиночества

Меня, свидетеля Твоих безмолвий, теней Твоих и раскатов голоса?»

Так жаловался ты в смятении вечернем

Но под темным переплетом окна, перед стеной напротив, когда ты был не в силах возратить утраченного озаренья, — тогда, открыв Книгу,

ты водил пальцем по строкам пророчеств; потом, уставив взгляд в морской простор, ты ждал мгновения отплытия, подъема большого ветра, который одним взмахом, как тайфун, тебя бы поднял, разрывая мглу пред ожиданием в глазах твоих.

*Сен-Жон Перс. Картинки для Крузо*

(Заметим в скобках, что этот франкоязычный гваделупец по имени Алексис Леже, писавший вообще-то больше всего о Центральной Азии, выбрал очень характерный псевдоним, в котором красиво сплавлены мотивы: библейско-церковный (святой Иоанн), римский (Персий), английское написание John, и французское произнесение этого «Джона». Типичный островитянский подход).

Итак, Адам Мильтона — это, в общем, Крузо, отплывающий с острова. От-падение его подобно нис-падению Сатаны, но вовсе не тождественно. В чем же разница? И здесь мы

натываемся на нечто фундаментально важное: тело Адама, как и Крузо, и бэньяновского Пилигрима, тело, то есть но-ситель Адамова естества, не теряет в падении тождественности себе самому, тогда как тело-естество Сатаны, вообще очень пластичное (рост аггелов, например, меняется), к концу поэмы радикально извращается в превращении. Враг играл-играл в Змея, да и заигрался. Теперь он обречен протечески вроде бы, а на самом деле в замкнутом кругу менять свой облик: то гуманоид, то драконоид.

Особо: *дымная громыхающая громада цивилизации Сатаны окукливается в мифологический цикл по ту сторону истории, тогда как Адам и Ева, разумные (ну, не слишком) мелкопитающие, возвращенные идиллией, пролагают исторический путь от врат Эдема именно потому, что, утратив Эдем, они друг для друга еще могут, с Божьей помощью, оставаться райским садом естества, плотью любви.* Их непоколебленная биология и есть образ Божий (о подобии сейчас речи нет), Номо апанс, начальная точка истории, упирающейся в конце концов в меня, лично в меня (в тебя, в того, кого любишь). Каждый может сказать о себе: «В целом я таков же, каким был мой предок в Эдеме любви; отчего же я, утерев подобие Богу, желаю еще и стереть Его образ, делая себя бесконечно изменчивым, „превращающимся“ в ущерб естеству, впечатанному в меня: на что мне подражание превращениям Сатаны?» Да, великое дело — постоянство; «переменчивых нас постоянная ностальгия возвращает к известняку» (Уистан Х. Оден), из которого сложено само тело Острова; впрочем, любовь-то должна быть обоюдно приемлемой и открытой в «плодитесь и размножайтесь», иначе это что же за Эдем для одной особи?..

Итак, следует рефлексировать, прежде какой бы то ни было «смысловой», простую физическую погруженность человека в мир и, главное, людей друг в друга; чувственную данность первых людей, мужчины и женщины, друг другу. (Опять-таки не «друг-врагу» и тому подобное.) Отсюда, от Мильтона, найдем ниточки — отсюда «manalive» Фильдинга, или Лоуренса, или Генри Миллера с Теннесси Уильямсом; но отсюда же и атлантическая эстетика, антропоцентричес-

кий «criticism», скажем, Берка — очень поучительный *pendant* к Канту. У Берка-то (и не у него одного) на месте кантовских трансцендентальных категорий оказывается то, что сейчас называют «конфигурациями желания». И в жилах германоязычных «просвещенных мореплавателей» оживает, помимо всякой прочей, шалая кровь, кельтская, пиктская, а то и того хлеще, неандертальская (судя по ирландским легендам, в крови ирландских пиктов, «племен богини Дану», с какого-то момента растворена и кровь по крайней мере одной женщины из племени фоморов, Этне, с длинной рукой и глубокой глазницей, матери Луга и праматери Сетанты-Кухулина и проч. и проч.)

Вообще, некая изначальная матриархальность островного мышления общеизвестна, и только англичане, не видя себя со стороны, не всегда это признают. Об этом писал, например, Флоренский: «английский стиль» в его блестящем описании явно альтернативен по отношению к континентальному фаллоцентризму. В чем, кстати, островитянство, по мнению Флоренского, совпадает со славянством. Мягкое, текучее, переменчивое, оно в то же время блюдет строжайшую верность себе (уж не говоря о верности Богу).

«Я не хочу превращаться во что-то другое, не в себя. Я уйду отсюда, а если меня не пустят, я закричу, как кричала бы в притоне» (Честертон «Перелетный кабак»).

«И она впала в великую скорбь» («Болезнь Кухулина»).

Конфигурации *естественного* желания, слава Богу, остались записанными почти неповрежденно в теле, вынесенном из Эдема (другое дело, что к нам приписано много лишнего). Культура, очевидно, может работать как на воспоминание об Эдеме, так и на его поругание (или тогда уже нет культуры, хотя еще есть кое-какая цивилизация). При чем сама земля Островов особо родственна Эдему: когда Бог творил Ирландию (ирландцы говорят) он сотворил ее по-следней, как женщину, как (при любом, еще не во всех деталях ясном, исходе этой истории) совершеннейшее существо. Ибо, как говорит К. С. Льюис, три нити свиты в любви мужчины к женщине, и они выражаются следующими словами: 1) «Я НЕ МОГУ БЕЗ ТЕБЯ ЖИТЬ, Я ЖДАЛ И ИСКАЛ ТЕБЯ ВСЮ ЖИЗНЬ»

(нужда); 2) «Я МОГУ ЗАЩИТИТЬ И ТЕБЯ, И ДЕТЕЙ. ЧЕМ Я ЕЩЕ МОГУ ТЕБЕ ПОМОЧЬ?» (дар); 3) «ТЫ ПРЕКРАСНА» (оценка, причем объективная).

«Когда Патрик и Джоан бродили, и каждое дерево было им другом, открывающим объятия мужчине, а каждый склон — шлейфом, покорно влекущимся за женщиной; когда мир снова стал таким, каким он бывает для немногих там, где верность зовут узостью, а любовь — безумием; когда они так бродили, однажды они поднялись на холм, где в маленьком белом домике обитал сверхчеловек...<...> И она заплакала; но плакала она от жалости; а тот, кто умеет жалеть, ничего не боится» (тот же текст и автор).

О госпожа моя, не пой  
О том, что любовь прошла,  
Но пересиль себя и спой  
О том, что любовь была.

(как ни странно, Джеймс Джойс)

Вот то единственное, ради чего стоит пересилить — нет, не естество, но то, что мы склонны до начала опыта принимать за «естество»: попробовать поверить, что сказки — не только упаковка для горькой пилюли, что Эдем — не аллегория, но реальная потеря. Лишь с этих позиций возможно правильное прочтение, например, «Прощания, запрещающего печаль» или этих, менее известных русскоязычному читателю, строф (Джорджа Герберта):

Боже, сдержи Свой бич,  
Милость Свою яви,  
Возвеличь  
Избранный путь любви.

Сбившийся с ног, в бреду,  
Буду стенать и звать;  
Я найду  
Горную благодать.

Боже, сдержи Свой гнев,  
Милость яви, Творец,

Одолев  
Черствость людских сердец.

Свят Ты в Любви Своей,  
Ибо Любовь — солдат,  
Сила в ней,  
Стрелы ее разят.

Стрелы повсюду те,  
Ты ради нас страдал,  
На кресте  
Ты нам спасенье дал.

Боже, сдержи Свой бич,  
Смертным Любовь яви:  
Возвеличь  
Избранный путь любви!

Этот текст полон эсхатологических тем; но эсхатология в нем начинается сегодня, с человека, твердо стоящем на земле и простирающем руки к небу. ДОЛЖЕН БЫТЬ ШАР, ЧТОБЫ ПОСТАВИТЬ НА НЕМ КРЕСТ: и Должен быть Крест, чтобы увенчать Шар. Эти черстертоновские мотивы наличествуют уже у поэтов-метафизиков —

и Вы поймете,  
Как мало предается дух,  
Когда мы предаемся плоти.  
(Донн).

Подробное изъяснение тем собственно метафизической поэзии сделало бы текст слишком длинным. Полагаем, что сказанного достаточно, чтобы понять: бешеные шотландцы, сумасшедшие ирландцы, дремучие валлийцы и чудачки-англичане не могли не играть совершенно особую роль в зачатии, вынашивании и родовспоможении (майевтике) нашей любимой неклассической рациональности; лучше, может быть, сказать — альтернативно-универсальной рациональности, интегрирующей уровень реального символизма тела и не менее реальное дву- или многоязычие (в вербальной сфере) открытой на надежду, веру и любовь, которая, по слову апостола, не постыжает. А вот валлийцы еще не привлекались; итак —

Смерть утратит власть над Вселенной.  
Станут голые трупы плотью одной  
С человеком ветра и закатной луной,  
Обнажатся их кости, превратясь в перегоняй,  
Рядом с ними луна затеплится вьявь;  
К ним, безумным, вернется разум иной,  
Утонувшие снова всплывут над волной,  
Хоть любовников нет — сохранится любовь:  
Смерть утратит власть над Вселенной

(далее пропускаем строфу, находящуюся, к сожалению, явно за пределами здравого катехизиса и несущую на себе пури-танский отпечаток)

Смерть утратит власть над Вселенной.  
Чайки в уши им больше кричать не должны,  
Могут стихнуть огненные вопли волны,  
И не надо цветку, что расцвел весной,  
Подставлять свой венчик под дождь  
проливной —  
Пусть безумны они и мертвы, как бревно,  
Но, гремя сквозь ромашки, их черепа  
Рвутся к Солнцу — еще не взорвалось оно;  
Смерть утратит власть над Вселенной.

Эти стихи Томаса вновь возвращают нас к эсхатологическому контексту эстетической метафизики человека, столь ясно проявившемуся в «Балладе Рэдингской тюрьмы». Впрочем, этому вопросу посвящена моя статья, выросшая, в свою очередь, из давнего доклада на нашем философском клубе. Тем, кто его не слышал и не знаком с этой стороной моей деятельности, я вынужден сообщить, что тот текст рефлексировал, в сущности, всего-то восемь уайльдовских строчек: Легко ступал он, словно шел На партию в крикет, Но боль была в его глазах, Какой не видел свет, Но боль, какой не видел свет, Плыла, как мгла, из глаз — В единст-венный клочок небес, Оставленный для нас, То синий и единственный, То серый без прикрас.

В принципе, можно вытащить из «Баллады» и весь путь Уайльда, и все то, что привело Уайльда на смертном одре в

лоно Церкви; эстетическая метафизика — дело серьезное. Но я еще вернусь в следующем подобном тексте к предшественникам объекта или, вернее, партнера по моей диссертационной деятельности. Чтобы закруглить текст, процитируем еще:

Страшна твоя и Божья близость  
Тем именно, что ты не Бог,  
Но двое обоюдной линзой  
Клубятся в жертвенный дымок.

Не все прозрачно и красиво  
Страдать и мыслить — до конца  
Мы, как солдат носил огниво,  
Несем на теле знак Творца.

О плоть и плоть, скелет нахальный,  
Блесни, опомнись, подожди —  
Улыбкою первоначальной  
Любви и Жизни впереди.

*А. McCarthey*

(Русскоязычный текст — автора статьи)

О, как Ты прав, что вверил серафимам  
Огонь и свет, как светам и огням,  
А ничего не ждать, как только быть любимым —  
Немым зверям и говорящим, нам.